

Мы говорим, что ныне в мире господствуют точные науки, а биология со своими поразительными открытиями, как известно, — уже «невеста на выданье». Мы знаем многое, и в то же время наше познание об объективной реальности, о человеке в ней — еще лишь шаг к полуоткрытой двери, за которой лежит не один пласт неоткрытых возможностей. Отдавая должное науке, можно сказать, что есть особый инструмент эмоционального познания ценности мира и ценности человека в нем. Этот инструмент — категория эстетическая и моральная — художественное исследование бытия.

В данном случае я имею в виду литературу и в той же мере кинематограф, этот новейший жанр полуторачасового диалога со зрителем, самый популярный в двадцатом веке вид искусства, заметно потеснивший некоторые другие его виды. Как бы ни было слишком решительным подобное утверждение, но это так. И с этим следует считаться. Да, и серьезная литература, и серьезный кинематограф (который становится все более психологическим^{***}) разными средствами достигают высокой степени воздействия на миллионы людей.

А что значит познать? Это значит увериться в чем-то, докопавшись до глубины, за которой лежит пласт следующей неисследованной глубины. <...>

Очень давно известно: существуют в искусстве «что» и «как». Например, говоря о прошлом, мы знаем, что было, но все же не всегда знаем, как было. В литературе и кино важно не только что, но в большей степени как. Сначала что, а потом уже как, почему и зачем (не только что сделал, что сказал, но как сделал, зачем сделал). И это уже вопросы исследования, вопросы открытия общественных явлений, человеческих характеров.

Что и как — столпы содержания и формы. Форма — выявленное содержание. Дом строится не для того, чтобы холодно любоваться линиями карнизов, легким или тяжелым изяществом колонн. Дом строится не для того, чтобы исторгнуть восклицательные знаки у снобов или «философический» зевок у знающего всю архитектуру мира и видевшего все и вон стороннего наблюдателя или скептически настроенного критика. Дом строится для людей. В доме живут люди, он должен быть удобен, прочен. Он не должен ошеломлять, пугать или быть

* Юрий Бондарев. Собрание сочинений в четырех томах. Том второй. М., "Молодая гвардия", 1973.

** Работа «Поиск истины» написана Юрием Васильевичем Бондаревым сорок пять лет тому назад. Однако насколько актуальны для литературы, культуры и жизни темы, поднятые им, насколько они важны и поныне! (прим. гл. редактора)

*** Имеется в виду кинематограф 70-х — 80-х годов (прим. гл. редактора).

рассчитанно модным, с желанием всем понравиться своим фасадом. Как известно, архитектурой дома трудно кого-либо удивить. Инженеры говорят даже, что конфигурации кузовов автомашин, их линии, их формы уже исчерпаны в мировом автомобилестроении. Может быть, это и так. Или же не совсем так. И все-таки, надо полагать, все дело в жильцах дома, в их страстях, форма проявления которых мало изменилась за весь двадцатый век, хотя, скажем, политические страсти по существу своему неизмеримо изменились.

В дискуссиях на Западе мне часто говорили: стоит ли задумываться над смыслом жизни, если человек слаб и одинок, бессилен перед смертью, если он физически исчезает, уходит с земли? Не возникает ли отчаяние и ощущение бессмысленности, чувство отчуждения, разорванности связей?

Мне говорили также, что невозможно понять, куда исчезают человеческое сознание и человеческая память, которые несут в себе колоссальный заряд энергии. Куда и зачем исчезает энергия ненависти или любви, страдания, гнева или огромнейшей потенции творчества? Но мы живем ожиданием и утверждением жизни. Ожидание — это возможность счастья, вера в облегчение, это первая любовь, которая будет, это вечерняя прохлада после нестерпимого острого зноя, это белое после черного, смех после слез, это тишина после грохота. Ожидание всегда связано с переходом от одного душевного состояния к другому; оно рождает надежду. И мы продолжаем жить, бороться и искать истину, ибо мы живем будущим. Мы живем верой в человеческие возможности и в возможности нашего общества. После того, что западный мир пережил в последние тридцать лет, после всех войн, жестокости, попрания личности и гуманности, после беспредельной разнузданности национализма и низменных инстинктов, крови, которая и сейчас еще льется по вине империализма и реакции на нашей планете, после мучительных поисков и разочарований некоторая часть западного искусства и литературы как бы изверилась в разуме человека, сбила с его головы венец достоинства, высокого духа, видя только вокруг «обесцененность мира», деформацию мыслей и чувств, трагедию послевоенного человеческого отчуждения*. Я имею в виду все современные течения в искусстве, связанные с иррациональностью, индивидуализмом и апокалипсическими настроениями. Я не ставлю себе задачу подробного толкования этого искусства. Моя личная оценка этих модернистских деформаций может быть оценкой, так сказать, однолюба, то есть человека, для которого естественную красоту одной женщины нельзя заменить «иррациональной» красотой другой. Так называемое авангардное искусство я воспринимаю как бессильную

* Все сказанное автором в полной мере относится и ко всему пережитому российским народом в последние тридцать лет его истории (прим. гл. редактора).

форму самозащиты от сложности мира. И я очень сомневаюсь, что иррациональная формула подготовлена поставить диагноз тому или другому явлению в обществе. Деформация может лишь еще больше запутать тонкие нити познания человека. Узел всегда легче затянуть, чем развязать его.

Я же считаю, что литература и кинематограф должны пытаться «развязывать» узлы в пределах возможного и в интересах людей, идущих в первых рядах подлинного социального прогресса. Да, человек — это наделенная сознанием природа, медленно познающая самое себя. Но каждая вещь имеет свою обратную сторону. Каждое познание несет в себе утверждение и отрицание. Познание не может быть нейтральным — ведь вы хотите докопаться до истины. Истина имеет свои моральные измерения, свою объемность. Значит: или, отрицая, утверждать живое, или, утверждая, отрицать мертвое. Зло — это противоположная форма добра. Но порой зло и добро, как сиамские братья, уживаются как бы в единой сущности, мучаясь в противоречиях, но не в силах оторваться друг от друга. Задача <...> искусства исследовать эти явления, ибо мы рассматриваем жизнь в диалектическом ее развитии.

Писатель должен быть действенной памятью своего общества и его душевным опытом.

Искусство — это память народа. Очень многое было бы потеряно в нашем душевном опыте, если бы не были написаны книги, не были созданы фильмы <...> Главное же для писателя и сценариста — объект его наблюдения, объект его исследования — люди, их страсти, их поступки. Люди живут, объединенные в общество. Толчки к творчеству идут извне. Это социальные и моральные импульсы общества.

Мы исповедуем метод социалистического реализма. Я много слышал бранных слов в адрес этого метода на международных дискуссиях и, в свою очередь, защищал то, что исповедую. В этих дискуссиях постоянно улавливается противоречивость, ибо оперирование терминами — это не самое убедительное доказательство. Где же истина? Она, по-видимому, все же в книгах, в их воздействии на человека. Один из теоретиков французского «нового романа», Ален Роб-Грийе, заявил на дискуссии в Вене, что представители «нового романа» пишут неосознанно, а вся, мол, современная социалистическая литература занята проблемами сугубо утилитарными <...> Однако при этом не было названо ни одной даже плохой нашей книги последних лет. И, как ни странно, не было даже юмора, свойственного французам. И я не особенно удивился бы, если бы к этому были добавлены и проблема поглощения русскими черной икры ложками из деревянных бочек, и проблема медведей на улицах Москвы...

<...> Я ненавижу и в жизни, и в своих книгах несправедливость, ложь, равнодушие, предательство, карьеризм, и я хочу верить, что золотые истины могут победить и побеждают свинцовые инстинкты. И я

ищу в людях активное добро, мужество, товарищество и единение, не умиляясь и не приукрашивая человека, но и не унижая его презрением и жалостью. Я против лучезарного сияния в финалах романов и фильмов, против елочных игрушек в искусстве, ибо в неуверенном умилении вижу желание успокоить человека, надеть на голову его карамельно-розовый венец самодовольства. Нет, надо все время стучаться в его сердце, в его разум. Серьезная книга и серьезный кинематограф должны беспокоить сознание, говорить человеку, что он еще не достиг совершенства, и, отрицая в нем плохое, утверждать светлое начало, заставлять думать о сущности человеческого призвания. Я почти убежден, что художник не должен «решать» проблемы. Может быть, он должен только ставить их, указывать их. Проблемы решаются нашим обществом, а не писателем, ибо, как только художник задается утилитарной целью решить проблему, его герои превращаются в знаки, иллюстрирующие движение идеи. Разумеется же, такие произведения искусства не нужны никому. Книга и кинематограф — не устав, не свод законов, не инструкция, как подобает себя вести, в каких местах подобает курить, ходить или не ходить по газонам, снимать или не снимать галоши и пальто. Искусство — это средство тонкого воздействия на человеческую психику, инструмент истины и нравственности.

От века истина ходила с зажженным фонарем и раздражающим колокольчиком по негостеприимным домам, стучалась в двери и вместо приветствия звучно и как бы некстати говорила на пороге: «Власть имущий и сытый, помни о смерти». Это всегда неприятно напоминало, что человек со своими необузданными страстями, жестокостью, ложью, прелюбодеянием, коварством, жадностью не вечен, а значит, не всесилен, что смысл жизни, нетленность всего сущего — в любви к ближнему своему. Вечные истины черпались из библейских глубин, нарицательный сюжет Иисуса Христа в разных вариантах, с разными оттенками трансформировался в литературе вплоть до золотого ее века — XIX столетия.

Литература послеоктябрьского периода — это качественный скачок, одержимый поиск нового в человеке. Возникла литература *завоевания добра* <...> Если жизнетворность искусства в беспредельной цепи поисков, то вечность искусства — вечность исследования смысла человеческой жизни и цели ее. Жизнь человека — это последовательное приближение к истине, каким бы это движение ни было: мучительно зигзагообразным или круто синусоидным. Нет сомнения, для художника неинтересен удручающий анализ аксиомной прямой — кратчайшего расстояния между двумя точками. Здесь литература бесполезна.

Поэтому лучшие книги послеоктябрьского периода полны борьбы человека, напряженных его усилий, социального столкновения характеров в годы гражданской войны и в новом временном качестве

после ее окончания, поэтому эти книги и трагедийны и вместе с тем оптимистичны, гуманны и вместе с тем мужественно жестки. Они являются собой непреходящие ценности.

<...> Мы не должны во упокоение свое слезно умиляться, то и дело оглядываясь на уже сделанное, ибо и наше время слишком серьезно, слишком ответственно, чтобы быть сентиментальным.

Выражаясь языком технического века, художник как бы напоминает сложнейшую кибернетическую машину, параметры которой исходят от общества и времени. Если бы эта тонкая конструкция могла смеяться и плакать, то есть была бы наделена индивидуальным темпераментом, подобное сравнение могло бы быть точным.

Тут же стоит добавить, что художник — не мессия, не проповедник, а индивидуум, обостренно чувствующий внешние и глубинные проявления окружающей его жизни. Он тщательно и чутко ощущает ту истину, которая кажется ему озаряющей жизненные явления концентрированным лучом правды.

В самом деле, есть ли принципиально новое в нашей прозе, особенно заметное в последние годы?

Да, конечно. Серьезная литература уже полностью перестала заниматься так называемой костюмной частью, броским экстерьером, — поверхностные краски не воспринимаются как искусство. Исчезли пышные неоклассические фасады с порталами и башнями, появился добрый и проникающий скальпель хирурга, рентгеновский аппарат. Но литература пошла вглубь не сама по себе — диктовала жизнь. Наши герои сделали полный вдох и полный выдох. Возросла их самостоятельность. Литература стала пристрастнее исследовать то, что и должна исследовать, — комплекс поступков как импульсов порой непостижимых человеческих эмоций, анализируя в человеке добро и зло, любовь и ненависть, страх и освобождение от страха как проявление самоуважения. Эти категории, слава Богу, перестали быть только назывными, заданными для геометрического разделения персонажей на «положительных» и «отрицательных». Возникла иная измерительная категория: человечность. Следовательно, серьезное искусство стало более глубинным и более осмысленным. Оно ушло от приблизительности, от вязкого и расплывчатого правдоподобия. Оно перешло на сторону большой правды.

Однако не стоило бы преувеличивать собственных заслуг, подобно Золя и французским натуралистам, утверждавшим, что они знают о человеке все. Если мы хотим быть скромными, то должны сказать: «Мы еще знаем о современном человеке мало, но когда-нибудь узнаем все».

Одним из самых неприятных впечатлений в моей жизни была встреча с совершенно реальным персонажем, когда-то наделенным маленькой, но крепкой властью, затем правдой времени лишенным ее.

У него был тускло усмехающийся взгляд человека, который давно узнал о людях все низменно-подлое, достойное презрения и кнута. Я убежден, что серьезная литература не имеет права вставать в позицию изверившегося индивидуума. Писатель может злиться и гневно отрицать мертвое, негодовать и сомневаться в чем-то. Но он лишен права быть озлобленным на человека. Это противопоказано истине. Как и великие гении вечной мысли, художник обязан исповедовать свое святое и непоколебимое, быть трезвым исследователем сложных и противоречивых явлений жизни, как бы ни были горьки порой его соприкосновения с материалом, как бы ни одолевали его иной раз сомнения.

Я уверен в этом еще и потому, что искусству последних лет стала чужда опасная прямолинейность, гладкая, как отполированная поверхность, вызывающая лишь мысль о безмыслии.

Человек — вот вечная, никогда не стареющая, никогда не подверженная никаким изменениям и модам тема. И говорить мы должны об этом. Может ли литература изменить мир? После того, что сказано великими классиками всех эпох о зле, жестокости, зависти, коварстве, прелюбодеянии, предательстве, угнетении человека и т.д., все эти извращения и пороки, казалось бы, должны были полностью исчезнуть с лица земли. Но они не исчезли. Они меняли форму и искусно камуфлировались. В то же время, как бы ни был отвратителен порок, он редко признает себя пороком и всегда готов защищать отвратительную свою сущность, найти оправдание своим поступкам. Почти вся литература критического реализма играла в этом смысле роль предупреждающего знака, но вместе с тем она искала и пути к совершенствованию человеческого общества. <...> Но мы не констатируем факты с холодной беспристрастностью, которая предлагает одну только «позицию» — равнодушие. В потоке жизни мы ищем своего героя, наделенного чувством ответственности.

Художественная литература не может материально изменить мир, но она может изменить отношения людей к собственной жизни и жизни общества. И она как бы постоянно обновляет связь человека с действительностью. Задача нашей литературы необъятно огромна — художественными средствами воспитывать самую высокую человечность.

Но как? Какие здесь использовать средства? На это ответят сами книги.